

На прозе Ю. Стефановича — в лучших ее образах — лежит отпечаток творческой манеры Ю. Казакова (говорю это в похвалу). Правда, фраза цветистей, чем у Ю. Казакова, больше орнаментирована, однако о связи упорно напоминают и интонация рассказчика и некая таинственность жизненного процесса, непостижимость мира, которую автор и не собирается разрушать. Как и у Ю. Казакова, у Ю. Стефановича человек зависит от окружающей его среды, но только не социальной, а природной, направляющей его жизнь. Именно потому герои Ю. Стефановича подбирают себе место обитания — оно создает их, и они знают это. Таков Плецкий, таков же и Солянов — персонаж с биографическими чертами автора, работавшего ботаником на Дальнем Востоке.

В этом контексте открывается второй, куда более глубокий и, думаю, более важный для автора смысл названия «Натуральная школа»: школа природы, обучающая, пантеистически влияющая на человека, она оказывается альтернативой среде социальной, доверие к которой утрачено.

Михаил Золотонос.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Живая изгородь. Книга стихов. Л. «Советский писатель». 1988. 143 стр.

Если спросить меня, что нового в новой книге Кушнера, то прежде всего — это слово «газета». Слово «книга», вызвавшее странный протест иных критиков, было у Кушнера всегда, а вот «газеты» действительно не было. Что тоже, в свою очередь, ставилось в вину, инкриминировалось как явная асоциальность.

Но ведь внимательный читатель всегда понимал, что поэзия Кушнера была исподволь движима одной из серьезных социальных проблем — скрытым конфликтом между личностью и государством.

Конечно, самой этой проблемы долгое время у нас как бы не существовало, она как бы осталась в веке прошлом, ну в крайнем случае — начале нынешнего. Скажем, в году 1913, когда писались «Петербургские строфы» Мандельштама: «Летит в туман моторов вереница. Самолюбивый, скромный пешеход, чужак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» Однако вопреки официальному мнению тема эта вовсе не была исчерпана: хотя имя «бедного Евгения» так и не вошло в наш обиход как нарицательное, сама проблема человека нечуждого, маленького несомненно присутствовала в жизни и литературе.

Так, например, удивительное мандельштамовское определение своего Евгения словом *пешеход* (только сейчас обретшим всю полноту смысла) будто специально придумано для лирического героя Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки, у стриженных лип на виду, глотая туманный и стойкий бензиновый угар на ходу...» Видите, кушнеровский пешеход даже бензин совсем по-мандельштамовски глота-

ет. Правда, с иными чувствами... Без отвращения. Тесно смыкаясь с классическим сюжетом, поэзия Кушнера его по-своему поворачивает и развивает: этот пешеход и бедности своей не стыдится, да и судьбу совсем не клянет. Ведь кушнеровский герой знает гораздо больше героя молодого Мандельштама: и про кровавый террор и про огромную войну. Судьбу поколения, заставшего все это лишь краем, действительно не назовешь несчастной. Это ощущение, постоянно стоявшее за его прежними стихами, Кушнер формулирует в своей новой книге: «Я помню майский день в бессмертном сорок пятом, мне в пятьдесят шестом пробило двадцать лет. Кто не жил в эти дни, пристрастие наше к датам, должно быть, не поймет, ему в них доли нет». Согласитесь, на таком историческом фоне и бедность (возвращаясь к мандельштамовским строкам) не страшна и, уж точно, не стыдна. А может, даже почетна. Ведь на роль *пешехода* брежневская эпоха выдвинула прежде всего интеллигента, более других ущемляемого и морально и материально.

От имени этого новейшего Евгения и говорит Александр Кушнер. И не просто говорит, а всею силою ума и таланта восстанавливает его в истинном достоинстве, подлинном достоинстве души и интеллекта. То, что всегда считала своим долгом русская проза — вступаться за униженных, — делает и лирика своими собственными средствами. Не теоретизируя, а просто будучи самим собою, Кушнер вступился за честь интеллигента, дал убедительную альтернативу самодовольным героям недавних времен. Его модель существования, демонстрирующая не нищету и не аскезу, а подлинный пир ума и сердца, объективно требовала силы, мужества, юмора, доброты. Старинная тема «маленького» человека претерпевает в этой связи любопытную трансформацию. она звучит у Кушнера так:

А мы и в пятьдесят Андрюши, Люси, Саша.
Я к отчеству, сказать по правде, не привык.
Порхают имена младенческие наши.
Не тратя лишних слов, ложатся на язык.

И внуки наши нас не старят почему-то.
Так праотцев небось на ложе дум и нег,
Средь жен и козьих стад века, вздымаясь
круто,
Не старили... ах, Мафусаилов век!

Задорно, не правда ли? Перед нами начало одного из недавних стихотворений поэта. Но, может быть, речь идет совсем не о том? О том, о том, погодите:

Мне отчество друзей неведомо. Потерю
За гранью здешних дней восполним
как-нибудь.
Солидности боюсь и важности не верю.
Писатель входит в дверь, выпячивая грудь.

Мы переждем его с улыбкой в отдаленье,
К нам вечность в руки шла одною из удач.
Поэтому-то я на наше поколенья
Печально не гляжу, — не хнычь над ним,
не плачь!

Вот как, оказывается. Хотя сегодня, в момент перераспределения социальных ролей, казалось бы, самое время пожаловаться, пороптать, побранить поверженных «кумиров». Однако Кушнер, верный своей многолетней привычке, склонен подсчитывать лишь обретения. Правда, оптимизм его на-

правлен не столько в прошлое, сколько в будущее. Заставляя нас мысленно продолжить хрестоматийную лермонтовскую цитату, пластично введенную в стихотворение, поэт выражает надежду на такое «грядущее», которое бы не было ни «пусто», ни «темно»...

На это и работает его новая книга. Книга, где Кушнер обрел наконец возможность обстоятельно поделиться с читателем своими историческими раздумьями, надо сказать, всегда отличавшимися глубиной и неконъюнктурностью. Он смог еще шире развернуть свой многолетний диалог с Мандельштамом — диалог не столько об искусстве, сколько о жизни.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что в своей новой книге Кушнер изменился. Он просто резко повернулся к себе настоящему, став самим собою в гораздо большей степени, чем в предпоследних сборниках, в которых, что ни говори, а чувствовалась, давала себя знать сильнейшая психологическая усталость: стихи становились сухими, монотонными, излишне филологизированными. Открыто заявляя о своих гражданских тревогах, не сдерживая хлынувших ассоциаций, не подавляя возникающих догадок, Кушнер возвратил своей поэзии необходимый тонус.

Но ведь это — результат не только внутренних усилий, но прежде всего внешних, объективных обстоятельств. Свежая газета легла рядом с любимыми старыми книгами. Кушнер раскрывает ее в первую очередь: «„Московские новости“... Знали бы вы, с каким напряженьем их ждут в Ленинграде...»

И. Винокурова.



ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ. Тайный советник вождя. Роман. «Простор», 1988, № 7—9.

Люди моего поколения в детстве засыпали и просыпались под несмолкаемые звуки гимна, несущегося из репродуктора: «О Сталине мудром, родном и любимом...» Эти застрявшие в памяти слова сейчас кажутся кощунственными, и можно ли найти в наши дни человека, способного употребить в адрес Сталина эпитеты: «мудрый», «добрый», «великий»? Но оказалось, что найти такого человека не составляет труда. Он заявил о себе в столице Казахской ССР. В романе, опубликованном на страницах русскоязычного журнала «Простор» тиражом около 80 тысяч (в этом году должно последовать и продолжение), московский литератор Владимир Успенский устами своего главного героя, белого офицера Лукашова, слагает Сталину дифирамбы в том самом высокопарном стиле 50-х годов.

Почему кадровый офицер царской армии, сделавшись тайным советником вождя, стал выразителем отнюдь не тайных чувств автора, догадаться нетрудно; уж если белый, потенциальный враг большевиков покорен личностью Иосифа Виссарионовича, то что остается делать нам, красным?

История знакомства Лукашова и Сталина вызывает в памяти пресловутый заячий тулудчик Гринева. Достаточно было вежливо-

го разговора офицера генштаба с солдатом-«инородцем» Джугашвили в Красноярске, чтобы потом, под Царицыном, Сталин, узнав его, спас Лукашова жизнь и приблизил к себе. Благодаря этому Лукашов не только становится свидетелем и участником боев за Царицын, но присутствует при расприх Сталина с Троцким, при беседах с Орджоникидзе и Фрунзе, наблюдает, как складываются отношения большого Ленина с генсеком, видит Сталина в момент его «вдохновенной» работы над «Клятвой».

Однако в первую очередь не политические и военные таланты вождя привлекают его внимание, а тщательно фиксируемые в записках тайного советника высокие душевные качества Сталина. Ими он не устаёт восхищаться.

Из дневников Лукашова мы (порядком удивившись) узнаем, например, что Сталин был совершенно по-детски доверчив: «...и на себе испытал я такое вот полное, безоглядное доверие Сталина, очень располагавшее, привязывавшее к нему. Такому доверию просто невозможно изменить, его невозможно не оправдать».

Еще одну черту, никем из современников не подмеченную, открыл в Сталине его советник: вождь незлобив и не помнит зла, причиненного ему другими. Едва член РВС южного фронта Сталин замечает, что командующего Десятой армией Егорова мучат воспоминания о том, как его полурота в 1905 году преградила дорогу тифлисским демонстрантам, среди которых был и Джугашвили, как с голубиной кротостью утешает последнего: «Зачем мучиться? Сели бы мы с вами за стаканом чаю, поговорили бы о Тифлисе... Как говорит пословица: кто старое помянет...»

Любую самую мелкую ссору миролюбивый Сталин, по заверению его летописца, переживает очень тяжело, поскольку ему свойственно стремление к невозмутимой гармонии. «Ему хотелось, чтобы он сам и все, связанное с ним, было абсолютно правильным, безупречным, надежным».

Широко известное, неоднократно повторенное замечание Ленина о грубости Сталина никак не ложится в строку «саги о вожде», и автор ее решительно опровергает Ленина: «Но я не считаю, что по натуре своей Сталин был груб, невнимателен к людям. Отнюдь... Заботливо относился к друзьям, охотно советовался с теми, от кого надеялся получить разумный совет».

У читателей романа, которым предложили познакомиться со столь добродетельным Иосифом Виссарионовичем, обязательно возникнет недоуменный вопрос: а как же все эти яркие достоинства будущего генералиссимуса увязать с тем, что мы сегодня называем сталинщиной? Ответ, который дает Успенский, обескураживает своей простотой. «Трудно, — пишет он, — невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу двадцатых годов... если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни». Иными словами, во всех тех преступлениях, какие приписываются Сталину, виноват вовсе не он, а совсем другие люди — его теща, жена и сын.

Судите сами: теща товарища Сталина «бедами покачивала, как этуаль на бакинской набережной... До самой смерти в мыс-